

*Эта книга посвящается Андреине, студентке,
которая изучала в пятидесятых годах XX века
архитектуру — и бросила университет,
обнаружив, что женщины-архитекторы
встречаются куда реже хибонита.
Выйдя замуж, она родила двух дочерей.
Младшая из них — я*

Величие женщины заключается в том,
чтобы не давать повода о себе говорить.

Гортензия Манчини,
герцогиня де Мазарини

КИТ

Эта штукавина была пыльно-серой и загнутой, как алхимическая реторта: пузатая у основания и резко сужающаяся кверху, размером едва ли с пол-ладони. На отцовском столе, поверх пухлой стопки бумаг, исписанных его лихорадочным почерком, она возникла так внезапно, что я приняла ее за пресс-папье или обломок античной скульптуры. По правде сказать, отец, вопреки недовольству матери, уже давно начал собирать всевозможные находки, творения рук человеческих, природы или случая: он откапывал их сам, выменивал у других охотников за сокровищами, а порой и покупал, так что теперь его маленький кабинет больше походил на лавку старьевщика, чем на мастерскую живописца.

В ящичках грушевого дерева он одинаково бережно хранил фрагменты мощей, большие пальцы исчезнувших божеств и почечные камни, извлеченные шурином из ночных горшков пациентов, расставляя их на полках рядом с потрепанными книгами на иврите и латыни, анатомическими таблицами с изображением вскрытых трупов и даже тщательно запечатанными в хрустальные склянки клочками шерсти *ксолоитц-куинтли* и *итцкуинтлипотцотли*, то есть мексиканских собаки и волка — древнейших, окутанных мифами и легендами пород. Эта комната, вечно сумрачная, пропахшая клеем, гарью и старой бумагой, собственный мир моего отца с тех пор, когда он

еще не был моим отцом, неодолимо притягивала меня, как притягивает железо магнит.

Отец требовал, чтобы его не беспокоили, но на задвижку никогда не запирался — возможно потому, что в глубине души рад был видеть, что я интересуюсь его диковинками, в отличие от сестры Альбины, никакого интереса к рисункам и сухоцветам не проявлявшей. На миг оторвавшись от листа, он прикладывал палец к губам в знак молчания. Потом обмакивал перо в чернила и начисто забывал обо мне. А я забиралась на табурет и, болтая ногами, наблюдала, как он пишет, пишет, пишет... неизвестно что. Сама я в ту пору едва умела читать по слогам. И не понимала, зачем художнику так часто пользоваться пером.

Однако эта штуковина не походила ни на фрагмент скульптуры, ни на камень. Она источала резкий запах моря и разложения, словно когда-то была — а частично и оставалась — живой. Февральские морозы вынуждали держать окна закрытыми, но вскоре вонь стала настолько резкой, что вызывала тошноту. В первый же день мать в сердцах велела поскорее убрать эту гадость. Но отец лишь бросил на нее снисходительный взгляд. «Молчи, глупая женщина, — проворчал он, — ты сама не знаешь, о чем толкуешь. Эта “гадость” здесь ценнее всего прочего». «И чего же она стоит?» — оживилась мать, потянувшись к этой штуке. Но отец игриво шлепнул ее по руке. «Бывают вещи настолько редкие, что им и цены нет. Я бы ее и за тысячу скудо не продал», — заявил он. «За тысячу скудо я бы и муженька родного охотно сторговала, — рассмеялась мать, подмигнув мне, — да только муж мой, к несчастью, так много не стоит». И добавила с внезапной нежностью: «Прошу, Джованни, убери ее, она только воздух отравляет. Еще не хватало детям заразу какую подхватить».

Но эту штуковину не убрали. Она так и распространяла по всем уголкам квартиры аромат моря и разложения, пока

с течением времени не высохла, став блеклой и мертвой, словно какой-нибудь минерал.

Только она не была минералом, не была ни гранитом, ни туфом — скорее походила на рог или слоновую кость. Ее ноздреватую поверхность испещряли мелкие поры, а по краю шла полоса белесой щетины, напоминавшей кабанью. Отец велел мне обращаться с ней осторожно, поскольку речь шла о фрагменте тела существа, каких в наших морях не видывали. Существа из иного мира. И звалось оно рыба-кит.

Зимними вечерами, когда дождь или мокрый снег запирали нас в доме, отец устраивал чтения «Неистового Роланда»*, для которых выбирал наиболее увлекательные приключения Анджелики, Астольфо и Руджьера, или разыгрывал сценки из комедий дель арте, треща на венецианском, бергамском и неаполитанском диалектах за Панталоне**, дзанни*** или хвастливого Капитана. Каждую сценку он сперва прогонял перед нами, своей первой публикой. На сами представления детям ходить не разрешалось, даже в частные дома: туда допускали только замужних дам. Но он был рад выступить перед нами, дочерьми. В своей беспощадной наивности мы становились самыми справедливыми его критиками. Если острота не вызывала у нас смеха, отец от нее отказывался, утверждая, что настоящая комедия должна воздействовать даже на слабоумных.

У этих домашних представлений была и другая цель. Отец намеренно взвалил на себя это бремя, словно епитимью,

* «Неистовый Роланд» — рыцарская поэма Лудовико Ариосто (1474–1533). — *Здесь и далее примечания переводчика.*

** Панталоне — персонаж-маска итальянской комедии дель арте.

*** Дзанни — в итальянской комедии дель арте персонажи-маски слуг: Бригеллы, Арлекина, Пульчинеллы и др.

желая развлечь, встряхнуть, излечить меня от врожденного изъяна, который считал своей виной. С некоторых пор, безо всякой видимой причины, я начала внезапно засыпать: сползала со стула или падала лицом в тарелку в полнейшем оцепенении и бессознательности. Мать даже подозревала, что на меня навели порчу.

Да, какое-то время меня это забавляло, но веселость продолжалась не дольше летней грозы. Обнаруженный изъян изменил меня. Страхась всего, и в особенности себя самой, я более не решалась покидать семейные покои: приступ мог повториться, и тогда чужие люди отвезли бы меня в больницу или вовсе бросили одну невесть где. Я предпочитала сидеть дома, приглядывая за младшей сестренкой Антонией: купала ее в лохани, сочиняла песенки и сказки. Мне страстно хотелось поскорее вырасти и самой стать матерью. Я была маленькой женщиной, молчаливой и покорной. И осталась бы такой, если бы не эта штуковина на отцовском столе.

Ведь ни одна из тех историй, что он нам рассказывал, не увлекла меня так, как известие о ките, выбросившемся февральским вечером 1624 года на прибрежные камни неподалеку от Санта-Северы.

Когда часовой на башне заметил в море темный силуэт, сгушались сумерки. Силуэт показался на расстоянии мили в направлении Чивитавеккьи. Что там — плавучий остров из обломков кораблекрушений? Или вражеские лазутчики? Может, берберийские пираты собрались в набег? Часовой немедленно поднял тревогу, на пляж высыпали солдаты. Но это был не остров и не корабль. На рыбу существо тоже не походило. Оно казалось настолько громадным, что поначалу его приняли за какое-то дьявольское наваждение. Когда зажгли факелы, стало понятно: морское чудовище лежит всего в паре десят-

ков локтей от берега. Вода была ледяной, но солдат страшило не это: они боялись, что левиафан еще жив. Только с первыми лучами рассвета один бесстрашный рыбак, закатав до колен штаны, двинулся к теперь уже недвижимой пепельно-серой туше.

Солдаты вызвали офицеров, а те — командующего крепостью Санта-Северы, как и все близлежащие земли, находившейся во владении Ордена госпитальеров Святого Духа. В свете нового дня чудовище обернулось безобидным китом, просто до той поры с незапамятных времен ни один кит не заплывал в наше море.

Знающие люди вспомнили, что четыремя годами ранее мертвого кита видели у берегов Корсики, но в Италии — никогда. Вероятно, косатки загнали его в Средиземное море из океана, и он, спасаясь бегством, заплыл так далеко, что не нашел пути обратно. Кит оказался самкой, и самка эта была одна. Никаких следов самца так и не обнаружили.

Кое-кто из людей ученых поговаривал, что спутника она лишилась по старости. Другие — что ее бросил вожатый: ведь в союзе с китом живет длинная белая рыба, что, присосавшись к его морде, остается с ним навсегда. Она проталкивает киту в рот мелкую рыбешку, которой тот питается, предупреждает об опасности, а шипастым хвостом, словно кормилом, направляет сквозь моря и течения, за что ее и зовут «вожатым». Взамен эта рыба получает пищу и защиту: так, застигнутый штормом, кит прячет ее в своей пасти. Они не могут прожить друг без друга. И если кит теряет вожатого, то уже не может ни плыть вперед, ни повернуть назад: ему остается только умереть.

Туша застряла на усеивающих побережье камнях, куда волнами нередко прибивало обломки кораблей и рыбацкие фелуки. Более девяноста пядей в длину, пятьдесят в ширину,

она была настолько тяжелой, что даже тридцать человек не смогли выволочь эту громадину на песок. В итоге ее решили разрубить на куски там, где она лежала, взбираясь по блестящей спине, как по склону холма. Светло-серая кожа кита оказалась тонкой и нежной, как шелк.

Считанные часы спустя пляж, бывший некогда пустынным, уже не мог вместить собравшуюся толпу зевак. Вереницы экипажей доставляли из Рима зоологов, ученых и дилетантов, священников, поэтов, художников. Одни хотели изучить диковинку, другие — просто поглазеть, третьи — увековечить этот момент для потомков. Все-таки чудо есть чудо.

Однако столь же сильно приехавшие жаждали завладеть хотя бы кусочком этого чуда. Местным крестьянам и рыбакам немало заплатили за отрезанный хвост, плавники, позвонки и плоть. Самые изобретательные уже представляли, как делают из них троны и лавки. При помощи шестов и балок киту раскрыли пасть, настолько широкую, что всадник мог въехать в нее, не спешившись. Пытались разобрать и требущину, но едва обхватили кишку. Мясо оказалось красным, как говядина, а слой жира вдоль спины — настолько тяжелым, что для его перевозки потребовались три телеги. Вытопленным маслом до краев наполнили девять бочек, и оно еще целый год горело в лампах. Зубы, в человеческий рост длинной, уменьшались по мере продвижения вглубь пасти, как трубы органа. Самый маленький был чуть больше алхимической реторты. Именно его отец и выложил на письменный стол.

Зуб ему подарил фра Луиджи Багутти, орденовский архитектор. Поселившись буквально в паре шагов от нас, он стал отцу лучшим другом: они виделись каждый день, обсуждая новые стройки Вечного города. Фра Леоне, глава капитула, снабдил фра Луиджи костями, мясом и жиром, а уж тот принес пока-

зять кое-что отцу, самому любопытному человеку во всем Риме, вечно алчущему новых знаний. И предметом, завожившим меня, оказался самый маленький зуб той самой заблудшей самки кита.

Той ночью она мне снилась. Потерянно бороздя волны, она прельстилась огнями крепости, но стоило только приблизиться, как острые камни на дне вспороли ей брюхо. Струя воды из дыхла взлетала выше дворцов и крепостных стен, но вожатый бросил ее, а никто другой не явился на помощь. Я проснулась в слезах. «Она умерла, Плаутилла, — сказал отец. — Мы ничем не можем помочь». «Я хочу ее видеть! — взмолилась я. — Синьор отец, отвезите меня к ней! Другого случая не будет, никогда!»

«Я и сам хотел ехать, Плаутилла, и тебя бы с собой взял, — уверял он, — да не могу. Теперь уж слишком поздно: гнилостное зловоние разносится до самой Чивитавеккьи. Придется обождать, пока природа возьмет свое».

И, чтобы меня утешить, отец взял лист бумаги, обмакнул перо в сепию и нарисовал кита. Разинув пасть в некоем подобии улыбки, тот счастливо возлежал на мелководье Тирренского моря. Выдуманный, сказочный кит, поскольку настоящего отец увидел, лишь когда Бернардино Ради, управляющий всеми стройками в Чивитавеккье, зарисовал только что выброшенного на берег гиганта и, наделав с этого рисунка гравюр, продал их во все книжные лавки Рима.

«А когда вонь пройдет, вы меня отвезете?» — не унималась я. Отец рассеянно кивнул. Четырьмя днями позже он, с чудовищной быстротой написав «Отчет о ките», в считанные часы пристроил его в печать, и на следующий день брошюра уже продавалась в Борго Веккьо, в лавке книготорговца из Болоньи, что напротив «Треноги». Тираж закончился мгно-

венно, экземпляры разлетелись по всему Риму, в остериях* их передавали из рук в руки, и многие хвалили работу за живость описания. Но интерес отца к киту быстро угас. Будущее занимало его мысли куда больше, чем свершившиеся события.

Долгие годы я бредила китом из Санта-Северы. Не знаю, почему это заблудшее, одинокое, почти фантастическое существо так меня взволновало. Касаясь иссохшего зуба на отцовском столе, я не могла сдержать слез: все думала о печальной участи этой морской владычицы, брошенной гнить на прибрежных камнях. А мать только смеялась: «Сердечко мое, лучше побереги слезы, они тебе еще пригодятся».

Впрочем, уже весной отец, договорившись с братьями ордена Святого Духа, разрешил мне поехать с ним. Карета была переполнена, и мне пришлось устроиться у него на коленях. Мы выехали из Рима через ворота Святого Панкратия: прижавшись носом к стеклу, я с удивлением наблюдала десятки зеленщиков, ожидавших въезда в город. Их тележки и повозки ломились от корзин с горохом, салатом и пурпурными головками артишоков, а сами они при нашем появлении смиренно снимали шляпы.

За стеной Рим вдруг закончился. Я привыкла к узким, сумрачным переулкам, где, выглянув в окно, почти могла коснуться стены дома напротив. Теперь же мне явилось нечто невообразимое: бескрайние просторы полей, волнообразная геометрия темных стен, ограждающих невидимые поместья, и — до самого горизонта, сколько хватало глаз, — зеленые прямоугольники, разделенные шпалерами виноградников или обрамленные рощами и густыми кустарниками. В то время

* Остерии в то время представляли собой гостиницы, помимо ночлега предлагавшие путешественникам домашнюю еду.

эта пересеченная долинами и оврагами равнина, простирающаяся до самого моря, еще не была застроена вилами. Кто мог подумать, что именно здесь, среди этих лоз, рощ и артишоков, и свершится моя судьба?

Карету трясло и качало, она подсказывала на ухабах. С непривычки я почувствовала недомогание, но не успела предупредить отца, как меня стошнило прямо на его сорочку. «Святая Пупа, а ведь другой-то у меня нет! — смиренно воскликнул он и добавил, обращаясь к монахам: — Покорнейше прошу нас простить». Те, скривившись, зажали носы: само мое присутствие здесь уже казалось им непристойным. Чтобы дать отцу возможность застирать сорочку, а мне — прополоскать рот, кучеру пришлось остановиться у родника. Дальше отец ехал с обнаженным торсом. В свои сорок пять он был тщедушен, словно зяблик.

За остерией в Малагротте башни и фермы попадались все реже, и вскоре карета, вздымая клубы пыли, уже катила по совершенно пустой дороге. Даже на мостах, переброшенных через дренажные каналы, нам никто не встретился. Одни только буйволы населяли эти гиблые, болотистые места. Моим глазам не на чем было отдохнуть, и я, уткнувшись в кудряшки на отцовской груди, понемногу задремала, убаюканная размеренным биением его сердца.

Меня разбудили голоса. Карета не двигалась. Едва я соскочила с подножки, как резкий порыв ветра сорвал с моей головы белый платок. Я бросилась его догонять — и замерла, задохнувшись от восторга. Передо мной в первый — и единственный — раз явилось море: лазурное полотно, в оборках расшитых волнами серебристых кружев. По мере удаления эта лазурь понемногу темнела, плавно переходя в стальную линию горизонта. Куда ни кинь взгляд — повсюду простиралась вод-

ная гладь, отделенная от небесной синевы безупречно ровной, словно проведенной по линейке чертой. Отец, положив руку мне на плечо, сказал, что на той стороне, только далеко-далеко, лежит Франция. Так я впервые услышала упоминание об этой стране.

Солдаты из крепости, которым настоятель сообщил о приезде, проводили нас к нужному месту. Однако китовой туши там уже не было: остались лишь продолговатые кости черепа, шипастый обрубок хребта и дугообразные — грудной клетки. Скелет напоминал опрокинутый вверх дном корабль. Однако кости, настолько выбеленные, что казались высеченными из мрамора, делали его похожим скорее на разбросанные вдоль Аппиевой дороги античные руины, давно превратившиеся в груды обломанных капителей, покосившихся пилястр и обрывающихся в пустоту карнизов, о первоначальном облике которых теперь можно было только догадываться.

И все-таки я не была разочарована. От бранных останков веяло той же грандиозностью, тем же величием, что и от руин Древнего Рима. Я понимала, что кит — настоящее чудо. «Глаза огромные, как колеса у кареты, — восторженно шептал отец, — а зрачки — как эбеновые шары». Он не сыпал абстрактными мерами длины, он их показывал. А чтобы объяснить то, чего я не знала, сравнивал с предметами повседневного обихода: зубы частые, будто гребень, на каких треплют пеньку, нижняя губа выступает полукругом, словно травертиновый валик вдоль основания крепостных стен... Отец, подобно волшебникам, обладал даром воплощать слова в реальность. Он был писателем, хотя в ту пору я этого еще не знала. И вскоре перестала слушать, а просто глазела на зубчатый хребет, о который, пенясь, разбивались волны, да временами, прищурившись, вглядывалась в горизонт в надежде увидеть фонтан еще одного кита. Но на водной глади виднелись только рыбацкие

тартаны* из Санта-Маринеллы и, чуть дальше, белые паруса корабля, направлявшегося в Порто-Эрколе.

«В нашем море киты не водятся, — задумчиво сказал отец. — Но это не значит, что их не существует. Вот почему мне так дорог этот зуб, вот почему он навсегда останется со мной. Это как дать самому себе обещание, понимаешь? Где-то есть вещи, о которых мы даже не подозреваем. И нам непременно нужно их отыскать, а если не получится — создать самим».

«Да, синьор отец», — ответила я, хотя не очень-то поняла, что он имеет в виду. Отец впервые заговорил со мной как со взрослой, а ведь мне тогда не было и восьми лет. Он редко уделял мне внимание. Я была лишней. Просто еще одна дочь — болезненная, не блещущая красотой, отличающаяся от других лишь беспробудным сном. Слишком робкая, слишком покорная, чтобы проявить тайное желание стать кем-то другим — героиней, принцессой, великой воительницей, способной одной неодолимой силой воли возвыситься в этом мире, обрета славу и почет. Надежды на продолжение творческой династии отец возлагал на моего младшего брата Базилио, а всю свою любовь уже без остатка отдал матери и сестре Альбине. Мне ее не хватило.

Но историю о ките он рассказал мне одной, и только я одна поняла, что значил для него — а может, и для меня — этот зуб. То, что мне виделось в этой старой, одинокой, но отважной самке, одновременно привлекало и пугало.

Отец снял башмаки и предложил мне сделать то же самое, предупредив, впрочем, чтобы я была осторожна, поскольку песок усеивали ракушки с обломанными створками, острыми, словно ножи. Потом он взял меня за руку, и мы двинулись по мелководью. Останки кита лежали не более чем в дюжине

* Тартана — небольшое средиземноморское судно с косым парусом.

шагов от берега. Но добраться до них мы так и не смогли. Всего через несколько шагов я расплакалась от боли, пронзившей ногу. Отец тоже стenal и бранился. Камни, скользкие от водорослей, кишели морскими ежами. Шипы впивались в наши пятки, пальцы, стопы. На берег нас выносили солдаты: не помогли даже высокомерные заявления, что мы оба желаем идти дальше.

Обратно в карету пришлось забираться окоченевшими, в сыром, не просушем на майском солнце платье и босиком, поскольку ступни были замотаны бинтами, которые смочили маслом. Служители в больнице Святого Духа не один час извлекали из нашей кожи шипы — крошечные, черные, словно перец, крупицы, — а моя мать целую неделю попрекала мужа. Что за безумие обуяло его эксцентричный разум? Как ему вообще могло взбрести в голову тащить девочку в Санта-Северу? А главное, что, кроме разбитых ног и жара, я от всего этого получила? Но мы с отцом знали, что возможность увидеть останки кита того стоила. За двадцать один год, что мы прожили бок о бок, между нами не случилось разговора столь глубокого, как тот, на пляже.

Теперь зуб кита здесь, на моем столе. Все прочее мне пришлось оставить, но от него я бы не отступилась никогда. Ни запаха, ни цвета он больше не имеет. Остатки щетины выпали, в поры просочилась пыль, окрасив их пепельной патиной. Я гляжу на него каждый Божий день. Отец покинул меня почти шестьдесят лет назад. Книгу с его портретом я давно подарила и уже не помню ни голоса, ни черт. Но мне бы очень хотелось рассказать ему, где бы он ни был, что я тоже сдержала обещание.

КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ

Обо мне никто не знает. Само мое имя покоится на глубине трех пядей, под толщей земли, запечатанное в сердце холма, именуемого Монте-Джано, «горой Януса». Двуликий Янус — бог порога, начала и конца, покровитель этого города. Хотя, родись я в другом столетии, он мог бы стать повелителем и моей судьбы. Одинокий холм, где вечно гуляет свежий морской ветер, стоит на отшибе, не на том берегу реки — и все-таки господствует над Римом. Однако любили мы его не только за это. «Знаешь, друг мой, — сказал мне как-то аббат*, — с этой высоты я каждый вечер, в час заката, наблюдаю, как тьма незаметно, мало-помалу, стирает все, что составляло красоту Рима. Купола, сады, дворцы, площади, башни, фонтаны, колокольни, кресты — все исчезает, как сон. И я наконец смиряюсь с утраченными иллюзиями».

Мое имя выбито на свинцовой пластинке изящным шрифтом античных монументов. Октябрьским утром рабочие заложили его в фундамент. Закладка краеугольного камня — церемония торжественная и вместе с тем радостная, вроде крещения. Никому и в голову не может прийти, что начало и конец всегда идут бок о бок, что каждое свершение подразумевает

* Аббат — в Италии и Франции XVI–XVIII веков титул дворян духовного звания, не обязательно принявших сан.

возможность неудачи: как успеха, так и провала, триумфа или катастрофы. А временами и того и другого.

Но тогда я всего этого еще не понимала. Сердце пустилось в галоп, во рту пересохло от осознания себя одновременно и матерью, и крестницей, и крестной. Там, где другие видели лишь гигантскую яму — и гору рыхлой земли с торчащими пучками выдеранных корней, — я уже воображала террасу с фонтаном, балюстраду на резных столбиках, статуи и фасад, в окнах которого отражаются солнечные лучи.

Карета остановилась на самом краю участка. Откинув шторку, я увидела, что все уже собрались. Чуть в стороне, под навесом для каменотесов, сгрудились вокруг мастера рабочие; а на краю котлована расположились аббат, художник и должник, как предзакатная тень; его секретарь в роговых очках; стайка священников в одинаковых черных рясах, развевающихся на ветру; адъютант губернатора в шляпе с перьями; настоятель близлежащего монастыря Святого Панкратия; посол в кудрявом парике и с лихо закрученными усами, окруженный свитой ливрейных юнцов. Под перголой недвижно дремали лошади; лишь хвосты их лениво вздымались, отгоняя слетевшихся на виноградные грозди ос.

Когда стремянный распахнул дверцу и я выставила туфельку на подножку, ропот вдруг резко стих. На площадке воцарилась недоуменная тишина. Меня каменщики доселе не видели и потому строили на мой счет самые сумасбродные гипотезы. Их воображение несло вскачь от одного лишь слова «архитекторша». Должно быть, считают меня молодой и красивой, усмехнулась я. Впрочем, вуаль, скрывающая лицо, все равно не позволит им этого удостовериться.

«Можем начинать, синьора?» — спросил подошедший мастер. «Начинайте, мастер Бераджола. Или вы ждете другого

архитектора?» — ответила я самым легкомысленным тоном: иного он не воспринимал.

Мастером был угрюмый, молчаливый, сдержанный ломбардец. Его суровое лицо цвета выгоревшей на солнце кожи ровным счетом ничего не выражало. Мне он повиновался по обязанности, поскольку назначен был моим подчиненным. Аббату пришлось черным по белому прописать это в договоре, чтобы избежать споров и недоразумений. Ломбардец согласился — боюсь, не слишком охотно. А может, у него просто не достало воображения оценить последствия своего поступка.

Бераджола махнул рабочим. Один из них, нерешительно приблизившись, взял кельму, макнул ее в ведро с раствором и закрепил пластинку на камне. Монсеньор аббат всыпал в бадейку с водой щепоть соли, потом плеснул в котлован, чтобы придать зданию устойчивости. «*Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit coelum et terram**, — произнес он, осеняя котлован крестным знамением. — *Exorcizo te, creatura salis, per Deum vivum, per Deum verum, per Deum sanctum*»**. Мастер вложил мне в руки камень — идеальный параллелепипед с кипенно-белыми ребрами. Вот бы ощутить его шероховатость... Но увы, я была в перчатках. Краеугольный камень моей жизни оказался на удивление легким. Держа его в раскрытых ладонях, словно приношение, я поняла, что пластинка с надписью — того же размера. Впрочем, долго камень у меня не задержался, перейдя, как велит обычай, к его превосходительству послу Франции. Тот и сам был не рад подобной чести, но, будучи самой важной из присутствующих персон, избежать ее никак не мог. Он был несколько удивлен, что

* «Помощь наша — в имени Господа, сотворившего небо и землю» (лат.).

** «Заклинаю тебя, тварная соль, именем Бога живого, Бога истинного, Бога святого» (лат.).

камень ему протянула именно я: согласно ритуалу, это должен был сделать архитектор будущего здания. Похоже, о том, что архитектором буду я, аббат ему не сказал. Посол постарался избавиться от этой обузы как можно скорее, словно камень жег ему пальцы. Кто-то из свитских бережно отер вельможные перчатки платком.

Изготовил пластинку литейщик из Борго. Это традиция, которая тянется еще с библейских времен и, надеюсь, забудется нескоро: неперенный искупительный обряд. На стройках посромнее такие таблички делают из обожженной глины, на более важных — высекают из мрамора. Но мраморная плита сразу напомнила мне о надгробном камне, вроде тех, что Рим исторгает из своего чрева всякий раз, как винодел ведет борозду под новую лозу, а крестьянин вспахивает поле. Некрополи прошлого не дают покоя городу живых. Я же всегда предпочитала металл и потому выбрала свинец: в конце концов, таблички с проклятиями, которые в древности бросали в колодец нимфы Анны Перенны*, тоже были сделаны из свинца.

Об этом мне еще в детстве рассказал отцовский приятель по прозвищу Токкафондо, Проньра. Из множества художников, что бывали в нашем доме, он был моим любимчиком. Лицо его уродовал шрам — напоминание об ударе мечом, едва не отправившем пройдоху на тот свет. Но меня это не пугало, а скорее завораживало. Токкафондо казался мне кем-то вроде сказочного людоеда или разбойника из старинной баллады. Слава за ним тянулась мрачная: он не раз сидел в тюрьме, был даже приго-

* Анна Перенна — по Овидию, сестра Дидоны, которая, влюбившись в Энея, утопилась в реке и стала нимфой. Отождествлялась с богиней наступающего года.

ворен к смертной казни и спасся лишь тем, что приговор смягчили, отправив его ворочать веслом на папской галере.

Отец называл друга исследователем. В конце прошлого века каждый юнец грезил новыми землями и новыми народами, мечтал покорять океаны, леса и горные хребты Америки. А Токкафондо выбрал другой континент — тот, что был скрыт во тьме земли: невидимый глазу, близкий, но недостижимый, как Северный полюс. Из своих вылазок в недра Рима, как правило незаконных, он выносил на поверхность целые горы находок: так возвращались из Индии и Нового Света с перьями диковинных птиц, отравленными стрелами, статуэтками идолов или змеиными шкурками. Добычу сакральную — мощи христианских мучеников или тех, кого он ими нарекал, — Токкафондо сбывал с рук за деньги. А языческую — найденную больше по случаю — раздаривал знакомым: пальцы античных статуй, осколки мраморных сандалий или флаконов для духов, даже игральные кости и глиняные фигурки оленей, собак, кроликов или кошек, захороненные родителями в гробнице ребенка за многие столетия до эпохи мучеников*. Когда мне было года четыре или пять, он дарил такие фигурки десятками, и я играла с ними, покуда они не рассыпались в пыль прямо у меня в руках.

Но свинцовые пластинки с таинственными надписями он, невзирая на недовольство отца, уже присмотревшего их для использования в качестве пресс-папье, все-таки отнес обратно. Один его клиент, известный знаток, утверждал, будто расшифровал письма и обнаружил, что это страшные проклятия. Токкафондо бросил их в колодец, откуда прежде выгачил, и, боясь вызвать гнев мрачного языческого божества, отказывался даже признаться, в каком именно районе Рима тот

* Эпоха мучеников — период гонений на христиан во II–IV веках.

колодец находится. Из суеверия отец отвел нас всех за благословением к чудотворному образу Мадонны. Сам Токкафондо с нами не пошел и в скором времени умер.

С какой бы радостью я, подражая древним, велела бы выбить на свинцовой пластинке грозные, вселяющие ужас слова, вместо того чтобы риторически чествовать мир, обретенный по итогам чужой войны! Я бы написала: «Будь проклят до сотого колена тот, кто коснется единого камня этой восхитительной виллы...»

Однако надпись была куда короче. К тому же на латыни. В ней упоминался год, 1663-й, и обстоятельства, способствовавшие началу строительства, то есть восстановление мира между двумя могущественными державами: Святой Церковью и Францией. Кстати, обе они были не чужды и аббату: в одной он родился, другой служил. Точных формулировок не помню: зубрить латынь я никогда особенно не любила, поскольку считала ее бесполезной.

Эпиграф, надпись на камне, закладываемом в основание будущего здания, обычно заказывают у какого-нибудь известного поэта, хотя написанные им стихи никому и никогда не суждено прочесть. Если, конечно, архитектурный шедевр, возведенный на этом камне, не рухнет в результате землетрясения, проседания грунта или ошибки в расчетах. И не будет снесен по причине ветхости или изменившихся вкусов, в свете которых он станет выглядеть старомодным и нелепым, — чего, очевидно, не желают ни поэт, ни заказчик. Таких эпиграфов, должно быть, уже сотни, тысячи. Их можно найти под каждым домом. Целая антология эпиграфов! И пока стоит Рим, света ей не увидеть.

Этот я попросила написать нашего общего с аббатом и моим братом Базилио знакомого. Зовут его Карло Картари (зовут, а не звали: думаю, он еще жив). Для Рима он был довольно

значительной фигурой. Я бы даже назвала его другом, но предпочитаю приберечь это драгоценное слово. И несколько не стесняюсь признаться, что за всю мою долгую жизнь друзей у меня набралось не больше двух. В 1663 году мы с Картари были соседями, жили в одном доме, часто навещались в гости друг к другу. Адвокат охотно пользовался нашей семейной библиотекой, брал почитать отцовские рукописи, безропотно предоставлял нам свою карету, беседовал с братом о политике и придворных интригах, а я с его женой — о вышивке и духах. И после всего этого даже не пригласил нас на свадьбу дочери, хотя именно я учила ее основам живописи! Вот ему я и предложила сочинить несколько торжественных строк, которые должны были принести нашей вилле удачу. Мне — нам — это и в самом деле было нужно.

Адвокаты кардинальской консистории, как и все прочие, — отъявленные любители мараить бумагу. В Риме писателей всегда было больше, чем жителей. Они читали друг дружке свои творения, хвалили и льстили приятелям, изливали яд на чужаков. Писали обо всем на свете, в стихах и в прозе, на простонародном языке, вольгаре, и на высокой латыни. О бытовых мелочах и событиях, потрясающих весь мир, о папах, литургиях, святых, о времени и смерти. О часах, об ангелах, о повадках птиц, в особенности певчих, о желаниях плода в утробе матери, о пиве и природе вина: как его лучше пить, горячим или же холодным, опустив в бокал кусочек льда. Рифмовали что попало, без тени вдохновения и таланта. Отец научил меня распознавать настоящую поэзию. Я знала, что хороших стихов адвокат не напишет, но мне было все равно. Стихи нужны были для приличия, для меня же имела значение лишь последняя строчка. Мое имя.

Собственное, данное мне при крещении, и то, каким звалась семья. Базилио упорно не желал брать себе жену, и я уже начи-

нала опасаться, что в новом веке, в будущем, которого мы уже не увидим, носить нашу фамилию станет некому. Мы с братом всю жизнь прожили детьми своего отца, но, как ни странно, отвергали саму идею наследственности. Дети могут умереть, бросить тебя, отречься, разочаровать или предать. Мы подозревали, что тоже успели предать то, чему он нас учил. Может, вернись Джованни Бриччи хоть на денек к жизни, он отказался бы нас признать. Мы мечтали оставить после себя творения, которым суждено просуществовать куда дольше нашего рода, — неповторимые, словно комета, возникшая в римском небе именно в дни строительства виллы. Мы любовались ею из окон нашего дома, подмечая, как от недели к неделе хвост этой кометой звезды растет, а не уменьшается, и задаваясь вопросом, какое послание она нам несет. Вот потому-то мне и пришла в голову мысль заложить свое имя в фундамент виллы, чтобы она была моей, даже если я не прожила там ни единого дня и не проспала ни единой ночи: чтобы оставить по себе память.

Из рук аббата в котлован сыпался град монет: испанские дублоны, онгаро*, венецианские дукаты, серебряные скудо, римские сестерции... Не знаю, в какую эпоху зародился этот обычай, есть в нем что-то неодолимо языческое, однако его повторяют раз за разом, даже когда торжественно закладывают церковь. Произнеся слова благословения, монсеньор двинулся по периметру выкопанной ямы, кропя святой водой место, где будет возведено нечто вроде семейной капеллы. Мы чередой побрели следом за кадильщиком, бормоча молитвы. По правде сказать, мои молитвы несколько отличались от прочих. «Не дай мне ошибиться в расчетах, — мысленно заклинала я, — и благослови дом сей: да будет он роскошным и надежным, и да стоит он вечно». Пары ладана,

* Онгаро — итальянское название венгерского дуката.

валерианы, корицы и мирры, клубившиеся над кадилом, ненадолго заглушили запах сырости, смолы и перегноя. Тем временем землекоп спустился на дно котлована — довольно глубокого, поскольку фундаменту предстояло удержать весьма высокое здание — и уложил камень. С того места, где мы стояли, видеть его я уже не могла. Но поняла, что пришло время снять с цепочки обсидиановый кулон, который носила на шее целых сорок три года.

Стены Иерусалима, как я прочла в Откровении, иудеи украсили ясписом и сапфиром, халкидоном, смарагдом, сардониксом, хризолитом, бериллом, топазом и аметистом* — в общем, драгоценными камнями. Я же — осколком обсидиана, которому и цена всего пара байокко**. Но ничего драгоценнее у меня не было. Все эти годы я ждала исполнения пророчества. И вот время наконец пришло. Я бросила обсидиановый кулон в котлован, поверх свинцовой пластинки, чтобы он остался там навсегда. Остальные были полностью поглощены литанией*** или зевали от скуки и потому, вероятно, ничего не заметили.

На глаза навернулись слезы. Вуаль плотного кружева скрыла не только мое лицо, но и мою слабость. Если мастер что и углядел, то не подал виду. Церемония закончилась, гости уже спешили рассестись по каретам, а ничего не подозревающий аббат взял меня под руку и повел к лебедке, чтобы разъяснить кое-какие принципы работы шкивов. Он рассуждал о кирпичах и бетоне, радуясь качеству песка, на котором мы намеревались строить... Но я не слышала ни слова. И глаз не под-

* Откр. 21:18–20.

** Байокко — мелкая монета Папского государства.

*** Литания — молитва в форме распева, адресованная Иисусу Христу, Деве Марии или святым.

нимала: слой пудры, выбеливший его лицо, не мог скрыть появившиеся морщинки.

Плакать не хотелось. Я была счастлива и считала, что достигла вершины. Вот уж не думала, что мне вообще представится такой шанс. С чего бы? Я намеревалась создать то, на что не посягала еще ни одна женщина. Даже в самых смелых мечтах. Совершенно убежденная, что заслуживаю этой привилегии, я тем не менее была за нее благодарна. Несомненно, мир вскорости узнает, кто придумал, спроектировал и построил эту виллу. Довольно миниатюрную по сравнению с теми, что возводили на римских холмах люди куда важнее нас, однако вполне способную подстегнуть ход истории. Символ эпохальных перемен, отправная точка для всех женщин: тех, кто занимается искусством уже сейчас, тайком, в полутемных каморках, и тех, кто еще даже не родился, — вот чем должно было стать наше детище. И мы с аббатом гордились им, как гордятся поздние родители, благословленные неожиданной милостью.

Белев выбить на свинцовой пластинке свое имя, да еще назвав себя «architectura et pictura celebris»*, я впала в грех тщеславия. Но вполне простительный: ведь надпись эта не предназначалась для посторонних глаз, поскольку была заложена в основание фундамента и покрыта тысячами руббио** сырой плодородной земли Монте-Джано. Я сделала это не из конформизма или безвольно подчиняясь устоявшемуся обычаю — нет, исключительно по любви. Так матери, оставляющие детей в ксенодохий***, заворачивают младенцам в пеленки аму-

* «знаменитая художница и архитекторша» (лат.).

** Руббио — итальянская мера сыпучих тел (ок. 0,3 м³).

*** Ксенодохий — в средневековой Европе приют для бедняков и странников.

лет — половинку монеты. Знак, по которому однажды смогут их опознать. Думаю, в этом все и дело. Если бы дела пошли плохо, если бы виллу, мою любимую дочь, у меня отобрали, я тешила бы себя иллюзией, что она меня отыщет.

Мне не раз случалось задаваться вопросом: видны ли еще те буквы на пластинке или ржавчина давным-давно разъела и уничтожила их? Да и стоит ли сама вилла? Порой я опасалась, что это был лишь сон. Но убедиться собственными глазами не могла, поскольку больше не выхожу из кельи и даже пищу принимаю за конторкой: лестница, ведущая вниз, на улицу, для меня слишком крута.

А на прошлой неделе объявился один священник, который, услышав где-то мое имя, решил узнать, жива ли я еще. Я удивилась — ко мне ведь уже лет десять никто не заходил, — но его приняла. От новостей из внешнего мира у меня перехватило дыхание. И как только сердце не разорвалось? Я все не могла успокоиться, покуда женщина, что мне помогает, не принесла чернил, перья и бумагу. Лишь благодаря тому священнику я и пишу эти воспоминания.

Будучи в церкви Святого Панкратия на Яникуле, он заинтересовался зданием-кораблем, что высилось неподалеку, по ту сторону дороги к загородному дворцу, недавно выстроенному Лоренцо Корсини*. Управляющий сказал, что вилла заброшена. Нынешний владелец, герцог, уже много лет здесь не бывал. Садовник регулярно получает жалованье, ухаживает за парком, собирает виноград и делает вино. Однако лоджия постепенно разрушается, а от фундамента поднимается сырость: вероятно, то и другое выстроили не слишком добротнo. Лепнина и пилястры разбиты, штукатурка осыпа-

* Лоренцо Корсини (1652–1740) — будущий папа римский Климент XII.

лась, селитра расписала арабесками своих высолов обветшалые стены, в них ширятся трещины, потолки просели и пошли плесенью, балки сгнили, с крыши льет на рамы и картуши.

Аббат, которого все считали бессовестным карьеристом, оставил виллу герцогу, доказав тем самым свою преданность. А ведь преданность — та же честность. Хотя, сказать по правде, он и не мог поступить иначе. Разве был он свободен в своих поступках? Все, чем он владел, чем мы владели, ему не принадлежало. Нам не принадлежало. Однако без нас не появилась бы и вилла — невероятная, смелая, дерзкая. Такая, какими хотели быть мы сами — и какими стали, только создав ее.

Я понятия не имею, где ты и кто ты. Но хотела бы, чтобы ты ее увидела. И поняла, что возможно все.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ДОЧЬ ДЖАНО-МАТРАСНИКА
(1616–1628)

